

Научная статья

УДК 821.054.7.0

<https://doi.org/10.22455/Emigr.3034-3518-2024-2-431-443>

<https://elibrary.ru/UUFLRH>

БИЦИЛЛИ-ГОГОЛЕВЕД

© 2024 г. М.Я. Вайскопф

Аннотация: Литературоведческая деятельность П.М. Бицилли рассматривается как постоянные попытки установить или уловить связь между индивидуальностью того или иного писателя и теми горизонтами, которые его творчество открывает перед другими авторами — современниками или потомками. Подобный подход чрезвычайно расширяет панораму исследований и придает ему культурно-историческую глубину, лишенную вместе с тем идеологической доминанты. Сходство между авторами повсеместно корректируется принципиальными различиями, литературная техника — индивидуальная или даже заимствованная — духовными устремлениями классика, лежащими за гранью его художественной эмпирики. Под таким углом зрения интерпретируются здесь гоголеведческие наблюдения Бицилли, как, впрочем, и некоторых иных великих мастеров русской культуры.

Ключевые слова: П.М. Бицилли, Н.В. Гоголь, внутренняя форма, индивидуализм, евразийство, гармония, идея и комплекс, куклы.

Информация об авторе: Михаил Яковлевич Вайскопф — PhD, независимый исследователь, г. Иерусалим, Израиль.

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-0187-479X>

E-mail: michweisskopf@gmail.com

Для цитирования: *Вайскопф М.Я. Бицилли-гоголевед // Emigrantica. М.: ИМЛИ РАН, 2024. Вып. 2: П.М. Бицилли и гуманитарная наука русского зарубежья / сост. М.А. Васильева, науч. ред. А.В. Протопопова, М.А. Васильева, А.В. Бакунцев, ред. М.С. Щавлинский, Д.В. Зайцев. С. 431–443.*
<https://doi.org/10.22455/Emigr.3034-3518-2024-2-431-443>

Research Article



BITSILLI AS A GOGOL SCHOLAR

© 2024. Michael Y. Weisskopf

Abstract: The literary activity of Piotr M. Bitsilli is considered as a constant attempt to establish a connection between a writer's personality and the horizons that his work opens up to other authors — contemporaries or descendants. This approach greatly expands the panorama of research and gives it a cultural and historical depth, which is at the same time devoid of ideological dominance. The similarity between authors is everywhere corrected by their fundamental differences: the likeness of their individual literary technique cannot be described alone without a discussion of the classic's spiritual strivings that lie beyond his artistic empiricism. From this point of view I interpret Bitsilli's observations on Gogol and some other Russian writers.

Keywords: Piotr M. Bitsilli, Nikolai V. Gogol, inner form, individualism, Eurasianism, harmony, idea and complex, dolls.

Information about author: Michael Y. Weisskopf, PhD, Independent Researcher, Jerusalem, Israel.

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-0187-479X>

E-mail: michweisskopf@gmail.com

For citation: Weisskopf, M.Y. "Bitsilli as a Gogol Scholar." *Emigrantica*. Issue 2: Piotr M. Bitsilli and the Humanities of the Russia Abroad, comp. M.A. Vasilieva, sci. ed. M.A. Vasilieva and A.V. Bakuntsev, ed. A.V. Protopopova, M.S. Shchavlinskii, D.V. Zaitsev. Moscow, IWL RAS Publ., 2024, pp. 431–443. (In Russian)

<https://doi.org/10.22455/Emigr.3034-3518-2024-2-431-443>

Грандиозная фигура П.М. Бицилли-культуролога раскрывается лишь постепенно и с затяжными паузами. Это касается и его работ по Гоголю, без которых, по существу, немыслимо сегодня квалифицированное гоголеведение.

Касаясь его житейской участи, можно заметить, что ему в конечном итоге и повезло, и не повезло. В отличие от А.Л. Бема и других

его коллег-эмигрантов, он все же уцелел в период послевоенного советского правления в Восточной Европе. Правда, его социально-академическое положение с сентября 1944 г. безнадежно ухудшилось, но, может быть, именно это, вместе с фатальной нехваткой квалифицированных ученых в Болгарии, в какой-то мере и спасало его от ареста (сходный пример являет собой, пожалуй, судьба Д.И. Чижевского в Германии, где тот работал «на птичьих правах», что уберегло его сперва от нацистских чисток, а потом от чисток периода денацификации).

Так или иначе, он всегда страдал от бытовой изоляции в Болгарии и вообще на Балканах. В 1920–1930-е гг. они оставались культурным захолустьем, провинцией эмигрантского мира, причем провинцией преимущественно черносотенно-монархического толка, который в период немецкой оккупации густо окрасился в коллаборационистские тона. Я не знаю, как, собственно, жил Бицилли в официально пронацистской Болгарии в период Второй мировой войны, но хорошо помню устный рассказ К.Ф. Тарановского, как он тогда в Белграде предпочел официально записаться в сербы, отказавшись тем самым от немецкого военного пайка, полагавшегося в Сербии русским эмигрантам. «Я день и ночь сидел в пустом и холодном здании Белградского университета, упраздненного немцами, и занимался русской поэзией: без усталости подсчитывал русские двусложные размеры», — вспоминал он. Итогом этих его подвижнических штудий стала классическая книга, выпущенная уже в Югославии при Тито [9].

Конечно, в Болгарии в войну жилось спокойнее, чем в Сербии, но насколько спокойнее, Бог весть. Сумел ли Бицилли побывать в родной Одессе в годы ее румынской оккупации, да и вообще разрешало ли такие наезды правительство Антонеску подданным соседней страны, — не говоря уже об эмигрантах? (Ведь после второго Венского арбитража 1941 г. отношения между двумя этими фашизоидными государствами — Румынией и Болгарией — оставались крайне неприязненными.) Из самой Румынии ее руководство «своих» русских на аннексированные земли все же охотно впускало. Покойный С.З. Лущик — прекрасный знаток Одессы, историк и краевед — рассказывал мне, как в пору оккупации он учился в Одесском университете, причем среди его преподавателей преобладали репатрианты из Румынии. Однако Бицилли он не упоминал.

Мы знаем, что, когда при коммунистах, в конце 1948-го, в Болгарии резко ужесточились репрессии, его уволили, вернее, просто выгнали со службы — без права на пенсию, без права пользоваться университетской библиотекой и без права печататься. Припомнили

ли ему его давнее евразийство (впрочем, исподволь поощрявшееся из СССР)? Насколько связано было это уничижительное увольнение с новой внешнеполитической ситуацией — а именно, с яростной антиюгославской кампанией Сталина, вконец охладившего тогда к идее славянского единства? И в начальственном предисловии В.Н. Ярцевой, и в биографическом очерке В.П. Вомперского, предва-рявшем единственный имеющийся у меня сборник Бицилли, вся эта политическая тема, как и другие, сопутствующие ей, осторожно замалчивается. По необходимости мы сосредоточимся здесь лишь на русистике и культурологии Бицилли, вернее, на отдельных аспектах этой его громадной работы.

Уже в его раннеэмигрантские годы пафос неповторимых авторских индивидуальностей постоянно корректируется у Бицилли-литературоведа стремлением разглядеть в их самобытном и обособленном развитии надличностную перспективу — перспективу, чуждую, однако, какой-либо детерминированности и открывающую себя лишь ретроспективно, во взаимосоотнесенности культурных феноменов: каждый писатель являет собой некую обособленную фазу этой строящейся единой культуры, в своих духовных порывах уходящей за грань нашего мира. Такова, в частности, его блистательная по зоркости детальных наблюдений статья 1926 г. о Лермонтове, названном им «первым подлинным представителем и выразителем мистической религиозности» в русской поэзии [3, с. 475]. Разумеется, такой подход, заданный символистами, но усовершенствованный техникой самого анализа, был несовместим с духом советского благочестия — как, естественно, и с опальным русским формализмом, всячески чуравшимся метафизики.

Несовместимым с общесоветскими установками было и его евразийское противопоставление цивилизации и культуры, идущее, конечно, главным образом от О. Шпенглера, но сопряженное у Бицилли с разграничением народа и нации как явлений, находящихся в процессе постоянного и не слишком скоординированного становления. Цивилизация остается спецификой народа, тогда как культура, постоянно продуцируемая нацией, при всем своем индивидуальном своеобразии в конечном итоге входит в фонд общемирового и наднационального духовного богатства (глава «Нация и Народ» из обширной публикации 1922 г. «“Восток” и “Запад” в истории Старого Света»). Мельком стоит отметить заодно и его завуалированную дискуссию с давней статьей Андрея Белого «Штемпелеванная культура» (1909), где тот доказывал, в частности, что как раз культура является индивидуально-национальным феноменом — в резком от-

личии от цивилизации, всемирной и всеядной по своей сути. Важнее, что взгляд Бицилли заостренно полемичен и по отношению к вдохновлявшему Белого романтическому культу *Volksgeist*'а (как известно, сполна усвоенному нацизмом). В самом же динамизме концепции Бицилли, в идее безудержного становления различимо, мне кажется, воздействие довоенной Италии, одержимой пафосом движения как самоцели.

В концовке статьи «Вопросы русской языковой культуры» (1928) он доходит до того, что проецирует расхождение между народом и нацией на свои историософские прогнозы, причем довольно хмурого толка: «Что-то в русском народе есть, что для русской нации, в качестве элемента, явно непригодно, и даже угрожает самому бытию “нации”» [3, с. 606]. Ведь согласно Бицилли, подлинным творцом языка, т. е. главным культурообразующим фактором тоже предстает именно нация, а не народ, только пассивно усваивающий и попутно деформирующий те или иные новшества, полученные им сверху («Трагедия русской культуры», 1933). В процессе этой адаптации возникают комические зазоры, лакуны недопонимания, плодотворные зато для литературной игры — непреднамеренной, например, у Н. Успенского или же эстетически организованной — у М. Зощенко. О его языке он написал в 1932 г. превосходную статью «Литературные эксперименты Зощенко», в концовке которой назвал писателя «гениальным» — впервые в русской критике. Я должен заметить, что развернутая Бицилли социолингвистическая дихотомия прекрасно подходит и для анализа гротескно-полуинтеллигентского сталинского стиля, чем я и воспользовался в последнем переиздании своей книги «Писатель Сталин» [1].

С учетом общелингвистической доминанты Бицилли, всегда сопрягавшейся у него с выводами более объемного свойства, примечательна его рецензия 1939 г. сразу на две книги В. Сирина (Набокова) — «Приглашение на казнь» и «Соглядатай». Она обращена прежде всего к их языку, и ведущее место занимает в ней положительная — кстати, весьма нетривиальная для недалекой эмигрантской критики — интерпретация набоковских каламбуров и аллитераций. Поразительное новаторство методики заключается в том, что в этих, казалось бы, чисто вспомогательных тропах Бицилли видит благотворное «освобождение от действительности, чтобы, пользуясь эмпирической данностью как материалом, переработать его так, чтобы прикоснуться к иному, идеальному миру» [3, с. 642]. Частично он пересекается тут с известными выводами В.Ф. Ходасевича относительно ключевой роли обнажаемых самим автором ли-

тературных приемов (в «Отчаянии»), но идет значительно дальше в плане их метафизической интерпретации.

Здесь, в самом этом акцентировании технической стороны творчества, он и сходится, и полемизирует с формалистами. На одно из принципиальных разногласий с ними указывает, среди прочего, брошенная им как бы вскользь реплика в чрезвычайно глубокой работе «К вопросу о внутренней форме романа Достоевского» (1945/1946) — касательно полного отсутствия «театральной техники» в «Шинели» [3, с. 521]. Выпад, конечно же, направлен против нашумевшей работы Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя». Надо учесть при этом, что в эмиграции, если не говорить о Праге, вообще очень мало кто относился с интересом и уважением к формалистам — однако Бицилли, при всех своих расхождениях с ними, выглядел ярким исключением, особенно в косной среде его земляков на Балканах.

С позиций социолингвистической синхронии он оспаривал тыняновскую эволюционную теорию об «архаистах и новаторах», но в то же время, переключаясь тут и с самим Ю.Н. Тыняновым, и с другими формалистами, подчеркивал важнейшую роль таких низовых жанров, как домашние воспоминания, дневники, письма в процессе развития русской культуры. Однако социологическая культурология и в данном раскладе, как и в работе о Набокове, остается для него путем к тому, что лежит над изучаемой культурной эмпирикой. В том же направлении трактовал он в 1930-м и бахтинскую книгу о Достоевском, не оказавшую, увы, ни малейшего влияния на эмиграцию, — как, впрочем, и на советскую филологию тех же лет. И здесь, и в иных изысканиях Бицилли демонстрирует постоянные колебания между своим персонализмом (в духе Т. Карлейля и Б. Кроче, а не Н.А. Бердяева) и тягой если не к групповым, то к метафизическим началам, лежащим уже за пределами индивидуальных различий.

Живым обитателем самой культуры, а равно и связующим звеном между цивилизацией и культурой, между народом и нацией он считал «дворянские гнезда». Стоит ли напоминать, насколько в СССР подобный подход выглядел, мягко говоря, неуместным? Понятно, что он никак не вписывался и в официально-советское народолюбие, во многом унаследованное коммунистами от народников. С другой стороны, не сочеталась его позиция и с какими-то затеями во вкусе «славянского единства», которые после роспуска Коминтерна начнет было энергично поощрять Сталин.

Мы помним вместе с тем, что Бицилли всегда оставался убежденным противником национальной изоляции отечества и искал пути

к ее преодолению, поначалу в евразийском духе сочетая ориенталистские и западнические притяжения. Уже в программной статье «“Восток” и “Запад” Старого Света» (1922) он чрезвычайно усложнил обе стороны этой дихотомии (разные Запады и разные Востоки), подчеркивая, в частности, роль атавистически-туранских элементов в их сочетании: «Организация большевистской России слишком во многом напоминает организацию “орды”» [3, с. 32]. Тем не менее, и подхватывая, и подправляя риторику блоковских «Скифов», он акцентирует свою тогдашнюю мысль о синкретизме как подлинном назначении родины: «Россия, — пишет он, — не только посредница в культурном обмене между отдельными азиатскими окраинами. Вернее, она меньше всего посредница. *В ней творчески осуществляется синтез восточных культур...*» [3, с. 31; курсив мой. — М.В.].

Поучительно проследить на этом примере, насколько все же зависело как евразийство, так и совсем недолговечное «скифство» от старой и невероятно живучей по сей день уваровской доктрины — от пресловутой «официальной народности». Один из ее видных глашатаев — М.П. Розберг возвещал еще в 1838-м, за восемьдесят лет до А. Блока, в уваровском официозе: «По всей вероятности, России суждено прекратить кровавые раздоры Запада с Востоком, согласить их распри, кончить их и слить в необъятном лоне своем разнородные стихии обеих враждующих сторон» [6, с. 15], — словом, «скорее, старый меч в ножны, / Товарищи, мы станем братья».

Если не ошибаюсь, в политическом аспекте Бицилли был все же далек от столь глобально-пацифистских иллюзий, не говоря уже об утопии всеядного международного «братства». Идеалом для него всегда, на всех этапах его деятельности, было гармоническое сплетение персонализма, в том числе национального, с надличной культурной общностью, т. е. controversialное единство в многообразии, встроенное в метафизическую перспективу. В то же время и сам этот запредельный синкретический идеал был заведомо недостижим, а потому в пору евразийства отбрасывал на его риторику налет апофатической невнятицы — обычно крайне чуждой этому исследователю с его латинской ясностью слога.

Расставшись с евразийским грезам, он сосредотачивается взамен на мощном европейском заряде, исторически накопленном русской культурой, — и здесь Бицилли уже склоняется к отринутому им ранее европоцентризму. Впрочем, еще до всякого евразийства с идеей чаемой и недостижимой гармонии частей либо индивидов связаны были его работы по медиевистике. В своих «Элементах средневековой культуры» — книге, чудом вышедшей в разгар Граж-

данской войны, — он так описывал мировоззрение средневековья: «Мир есть целое лишь постольку, поскольку он весь, целиком зависит от Бога. <...> Это ключ свода; как только он выпадает, все рассыпается, и мира — как целого — не существует; каждая вещь довлеет самой себе» [4, с. 61]. В своей монографии «Сюжет Гоголя» именно этим архаично-магическим восприятием я пытался объяснить сюжет повести «Нос» [2].

В культуре России Бицилли с годами все отчетливее видит плодотворное соединение тех или иных восточных элементов с мощной западной основой, слои которой латентно накапливались в течение столетий, чтобы прорасти творчеством к предпетровскому и петровскому времени. Высшая ценность — отнюдь не безличное слияние культур, а, напротив, их живительная многоголосица, столь ценная для него и в индивидуальном, и в национальном плане. Именно оттого он, с одной стороны, так сочувственно реагирует на бахтинский принцип полифонии у Достоевского, а с другой — выступает против истовой веры в литературные влияния, дорогой как формалистам, так и враждебной им культурно-исторической школе. Он не то чтобы полностью отвергает воздействия одного писателя на другого — порой охотно их признавая, Бицилли все же настаивает на «конгениальности» великих художников в общем строе культуры — и мировой, и национальной. И когда он рассуждает о гоголевских комедиях — «Женитьбе» и «Ревизоре», — отсылки к предшествующей традиции, например к Мольеру, нужны ему только для того, чтобы подчеркнуть ее решительное преодоление и радикальный пересмотр со стороны Гоголя. То же относится к вопросу о влиянии самого Гоголя на Достоевского, Чехова и даже на Л. Толстого. Отмечая достаточно очевидные случаи такого рода, Бицилли зачастую предпочитает рассуждать все же о сближающем всех этих прозаиков общем своде жизненных впечатлений, обусловленных единством культурной субстанции. Из таких грандиозных индивидов состоит, по его убеждению, и вся великая русская культура, продолжающая созидать себя в процессе динамического самовывяления. Так, он с азартом оспаривает привычную мысль насчет зависимости Лермонтова и от Пушкина, и от Байрона, выстраивая взамен совершенно оригинальную интерпретацию, где делает упор на беспрецедентной специфике Лермонтова — а именно на сквозной и четкой логичности этого поэта, который, как он показывает, обычно развертывал образ или ситуацию посредством дедукции, т. е. детализируя исходную картину, смещая ее от общего к строго конкретным частностям. Не любит Бицилли толковать и о смене литературных эпох, нивелирующих личность художника.

Ясно, что этот подход родственен Ю.И. Айхенвальду, который решительно противопоставлял авторскую индивидуальность любым культурно-историческим обобщениям. Однако общим стимулом как для самого Айхенвальда, так и для Бицилли, послужил, по-видимому, Бенедетто Кроче с его «эстетикой интуиции» и приматом уникальной индивидуальности художника. Известно, что почитателем Айхенвальда был и Набоков, так занимавший Бицилли. Более того, отсветы айхенвальдовских «Силуэтов» различимы и в сириинских романах. Прочитирую хотя бы полемическую реплику художника Ардалиона в «Отчаянии», — реплику, которую мог бы повторить и Бицилли: «Художник видит различия. Сходство видит профан» [7, с. 421].

Переводя разговор в политическую плоскость, рискну предположить, что именно Кроче оказал существенное воздействие на «либеральный аристократизм» Бицилли — а возможно, и того же Набокова. Что касается философии, то, наряду с Кроче, Бицилли высказывает и некоторое расположение к монадологии Г.-В. Лейбница — отсюда столь частое и упорное у него повторение самого слова «монада», хотя бы там, где он размышляет о Достоевском или о «Приглашении на казнь». Правда, в статье о Гоголе он отмечает все же, что литературные «роды» и «виды» — это не «монады без окон и дверей»; и одновременно концентрирует внимание на условиях, позволяющих адаптировать заемные литературные приемы или формы к чисто индивидуальным потребностям автора.

У Лейбница монады связует предустановленная гармония. В русской литературе Бицилли выявляет ее у любимого им Достоевского — во «внутренней форме», или же скрытой драматургической основы его полифонических романов. Но эту гармонию он не находит у Гоголя. В новаторской статье «Проблема человека у Гоголя» (1944–1948), вышедшей в Софии в 1948 г., приводится ряд почти буквальных совпадений между ним и наследующим ему Достоевским, однако ученый подчеркивает одновременно и кардинальные расхождения между обоими писателями. В гоголевских произведениях, утверждает Бицилли, «каждый человек так или иначе во власти какой-нибудь “идеи” и автоматически подчиняется ей» [3, с. 552]. Но это вовсе не диалогически-индивидуализированные «идеи» Достоевского в бахтинском смысле: у Бицилли «идея», или «комплекс» (как видим, он исподволь прибегает здесь к фрейдистской терминологии, восходящей, впрочем, к английской философии) «возникает у гоголевских персонажей в результате какого-нибудь толчка извне» [3, с. 553]. При изумительной зоркости и чуткости такого великого

мастера, каким был автор «Миргорода» и «Мертвых душ», его героев, согласно Бицилли, фатально отличало именно отсутствие этого неповторимо персонального начала, самого ядра личности. Соответственно, «в отвлечении от своего “комплекса”, гоголевский человек не *individuum*, неделимое. Поэтому он так легко разлагается, как в собственном сознании, так и в чужом» [3, с. 557].

Что касается этого исходного импульса, извне определяющего поведение гоголевских героев, то и к самому Бицилли он пришел тоже «извне», — конкретней, из статьи Д.И. Чижевского «О “Шинели” Гоголя» (1938), где говорилось, однако, не об «идее», а о небытии «задоре», или «страсти», поработившей Акакия Акакиевича и «мертвые души» [8]. Другими словами, толкование «Шинели» носило у Чижевского преимущественно религиозный характер, подданный риторикой Г.С. Сковороды и, опосредованно, святоотеческой психологией. Сути дела это терминологическое разночтение не меняет: под псевдонимом «идеи» у Бицилли также подразумевается именно то, что в христианской традиции называлось пагубной *страстью*, затмевающей душу. (Единственное светлое исключение в перечне соответствующих «идей» у Гоголя он находит в трогательной «привычке» друг к другу, соединяющей старосветских помещиков — и в здешнем, и в загробном мире.) Неудивительно, что в болгарской академической публикации 1948 г. Бицилли никак не мог сослаться на своего одиозного предшественника Чижевского, как не мог сослаться и на В.В. Розанова, задолго до них обоих заговорившего об овеществлении людей у Гоголя. Развивая эту уже сложившуюся тенденцию, и в этой, и в другой своей ценной работе — «К вопросу о внутренней форме романа Достоевского» (1945/1946) — ученый подчеркивает, что, в отличие от него, у Гоголя, «нет, строго говоря, лиц; каждый — или почти каждый — человек у него словно бы уже родился “куклой”, “вещью”. Майор Ковалев как бы и вправду мог бы потерять свой нос» (тогда как «у Достоевского распад личности — результат намеренного, сознательного саморазложения» ее [3, с. 505]).

Рамки публикации не позволяют мне существенно расширить эту тему, к которой можно было бы приобщить и явственно просвечивающую у Бицилли полемику со статьей Тынянова «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)» (1921), как и некоторые его полемические переключки с работой В.В. Гиппиуса «Люди и куклы в сатире Салтыкова» (1927). Не удастся здесь подробнее коснуться и гоголевской концепции Бицилли в целом — отчасти еще и потому, что она по необходимости приглушена исследователем, поскольку в по-

слевоенное время излагать ее даже в Болгарии было небезопасно. В самом же СССР второй половины 1940-х гг. подобная публикация была просто немыслимой: творчество Гоголя там давно уже трактовалось как образчик «критического реализма», запечатлевшего протест писателя против крепостного права и социальной несправедливости. Приведу лишь выразительный пример того, как один и тот же гоголевский пассаж по разному интерпретируется у Бицилли и у замечательного советского литературоведа Г.А. Гуковского в его книге «Реализм Гоголя», создававшейся в те же годы (1946–1949), но оборванной арестом и гибелью автора. В обоих исследованиях цитируются, среди прочего, газетные объявления — «записки» из «Носа»: «В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска... отпускалась в услужение дворовая девка 19 лет...», и т. д. Бицилли, разумеется, тоже вводит этот материал в контекст «крепостного режима» и, соответственно, — но без особой настойчивости, а как-то мельком, — заключает: «Ужас от сознания, что человек может пользоваться своими ближними как мертвыми вещами, как предметами своего потребления, легко *мог привести* к идее, что такой человек сам — мертвая вещь» [3, с. 562; курсив мой. — М.В.].

Однако это только один из возможных толчков для «Носа» и вообще для гоголевского гротеска. С точки зрения культурно-исторического генезиса, Бицилли предпочитает все же соотнести его не столько с социальной действительностью, сколько с комическими и кукольными жанрами (конечно, не без влияния В. Гиппиуса), за которыми тем не менее просвечивает проблематика совершенно иного, духовного свойства. Зато Гуковский по поводу тех же самых газетных объявлений раздражается антикрепостническими филиппиками, где, как повсюду в своей монографии, гоголевскую технику «овеществлений» исчерпывает без остатка социальной сатирой [5, с. 287]. (Когда через много лет его «Реализм Гоголя» будет наконец опубликован, о книге станут говорить, что в ней верно все, кроме названия.) Кроме того, сталинский имперский настрой тогда, в период «холодной войны», успешно приспособил к своим потребностям уваровско-патриотические декларации Гоголя наподобие речи о «товариществе» из «Тараса Бульбы» и тирады о русской птице тройке, стремительно обгоняющей другие народы и государства в «Мертвых душах». Бицилли все это было чуждо.

На его счастье, в Болгарии советский идеологический канон просто еще не успел затвердеть в силу, так сказать, ее удачной отсталости и пресловутого «балканского провинциализма». Власти огра-

ничились тем, что — безусловно, по приказу из Москвы — с 1948 г. и до самой смерти Сталина нищему, лишенному пенсии Бицилли закрыли доступ к академической, да и любой иной печати. Несмотря на все его прошения о репатриации, в советскую Россию его так и не впустили.

Что ж, вероятно, это его и спасло. При всех его ужасающих мытарствах участь Бицилли в Болгарии оказалась все же несравненно лучше участи его благонамеренного коллеги в Советском Союзе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Исследования

1. *Вайскопф М.* Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты. 3-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 520 с.
2. *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М.: Радикс, [1993]. 588 с.

Источники

3. *Бицилли П.М.* Избранные труды по русской филологии / сост., подгот. текстов и коммент. В.П. Вомперского и И.В. Анненковой. СПб.: Наследие, 1996. 709 с.
4. *Бицилли П.* Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919. [8], IV, 167 с.
5. *Гуковский Г.А.* Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. 531 с.
6. Журнал Министерства народного просвещения. 1838. Ч. 7. Отд. 2. С. 15.
7. *Набоков В.* Отчаяние / Собрание сочинений русского периода: в 5 т. Т. 3. СПб., 2000.
8. *Чижевский Д.* О «Шинели» Гоголя // Современные записки. Париж, 1938. Кн. 67. С. 172–195.
9. *Тарановски К.* Руски дводелни ритмови. I–II. Београд: Српска Академија наука, 1953. 376 с.

REFERENCES

1. *Weisskopf, M.* *Pisatel' Stalin. Iazyk, priemy, siuzhety* [*Stalin the Writer. Language, Techniques, Plots*], 3rd ed. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2020. 520 p. (In Russian)

2. Weisskopf, M. *Siuzhet Gogolia: Morfologiia. Ideologiia. Kontekst* [*The Plot of Gogol': Morphology. Ideology. Context*]. Moscow, Radiks Publ., [1993]. 588 p. (In Russian)

Дата поступления статьи: 11 августа 2021 г.

Дата одобрения рецензентами: 13 апреля 2022 г.

Дата публикации: 26 декабря 2024 г.

Received: 11 August 2021

Approved after reviewing: April 13, 2022

Date of publication: December 26, 2024